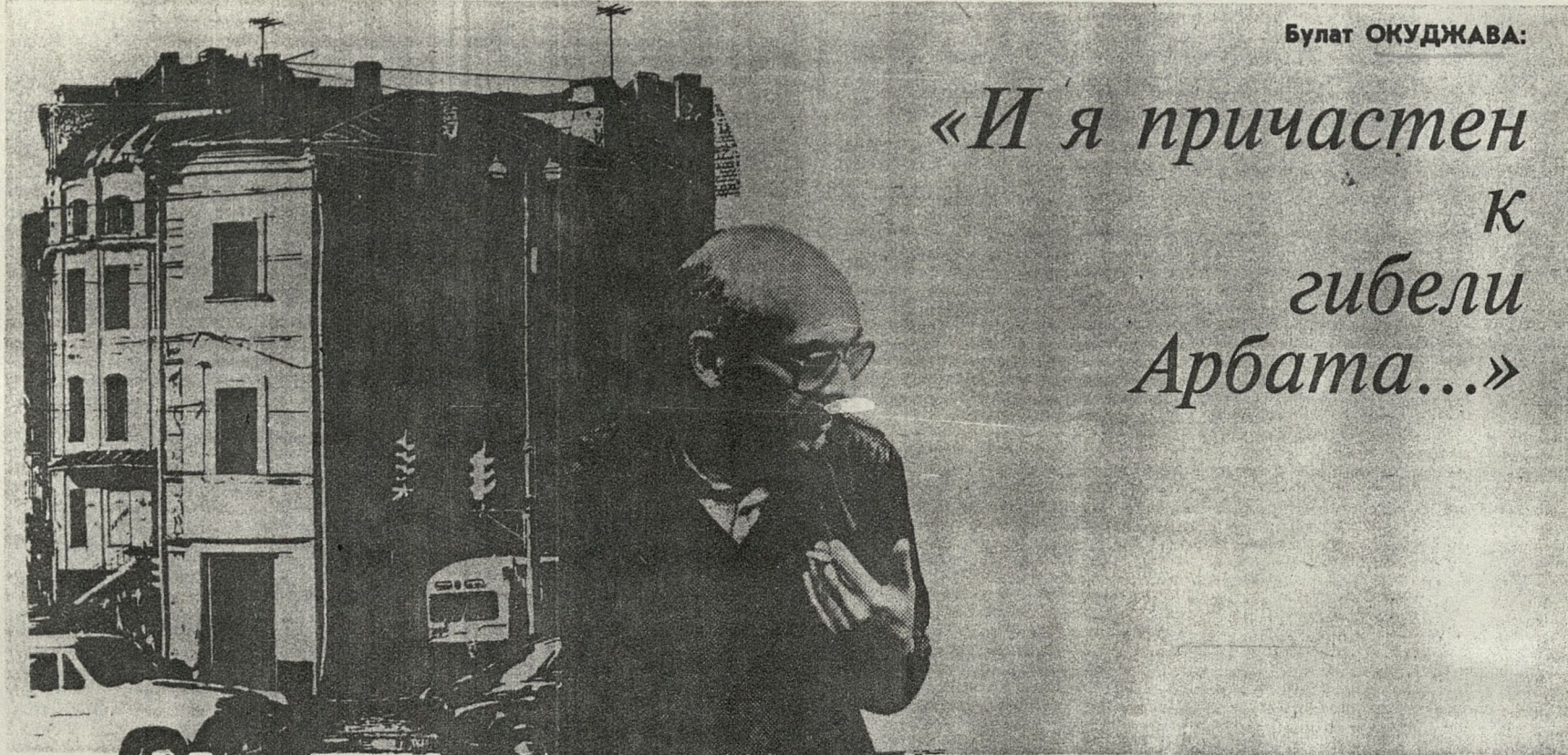




Булат ОКУДЖАВА:

«И я причастен к гибели Арбата...»

Говорят, у нас когда-то была Россия, которую мы потеряли. И Москва, которую не убергли. И Арбат, который изучили. Теперь ему, бедолаге, исполняется 500 лет. И объявлены повсеместные торжества по поводу юбилея. Однако праздник ли это? Быть может, просто крупномасштабные поминки? Известно ведь: «потерянная» Россия всегда любила своих покойников...

Недавно я стоял у подземного перехода через проспект Калинина. Ко мне подошел человек и спросил: «Как пройти на Арбат?» Я махнул рукой в сторону. «Это там, где фонари?» — поспешил уточнить гость столицы...

Да, вот он — сегодняшний символ старейшей московской улицы, запечатленный уже даже на выпущенных к юбилею значках. Будто бы ничем другим Арбат более и не замечателен, кроме как новоявленными лупатыми светильниками да убогой плиткой, которой не касалась нога не то что Пушкина, но и Николая Глазкова, не то что Андрея Белого, но и Окуджавы, старающегося как можно реже появляться на воспитной улице детства... Интересно, почему? Об этом, и не только об этом, и состоялся наш разговор с Булатом Шалвовичем Окуджавой, фрагменты которого я предлагаю вниманию читателей, оставляя за собой право отвлекаться на некоторые попутные комментарии.

Окуджаву считает нынешнее время не своим. Нет, он не стал оптимистом, не захлопнул дверь перед носом бесконечных интервьюеров. Наоборот, любит поговорить о политике, смотрит телевизор, боясь упустить что-либо новое и важное, участвует по мере сил в работе созданной при президентской комиссии по поминовению. Только вот новых песен у него нет, а многие старые — уже не поются. «О Ленке Коралеве», например. Теперь Булат Шалвович иначе относится к московским дворам, его суждения более категоричны, а оценки — скептически. Кого-то это обижает, кого-то раздражает. Людям из чувства душевного самосохранения хочется по-прежнему верить в то, что дворовые «короли» олицетворяли собою благородство и мужество, а «комиссары в пыльных шлемах» пали жертвой коварного генералиссимуса, а не собственных трагических заблуждений. Но Окуджаву значительно переосмыслил свою судьбу и судьбу страны, избавившись от былых иллюзий. Поэтому он имеет право быть категоричным по отношению к своей юности, к Арбату, к самому себе.

«Арбат — явление очень сложное, — говорит Окуджаву. — Тогда эта улица представлялась мне замечательной. Но со временем я понял, что не стоить ее идеализировать: ведь в годы моего детства Арбат был главной магистралью, по которой ездил в Кунцево Сталин. Я вспоминаю, что во всех подъездах было несметное количество всяких «топтунов». Правда, тогда мы не придавали этому значения, а теперь — напротив... Вспоминаю я и своих друзей. Оживая их сегодня стариковским многоопытным взглядом, я понимаю, что среди них было несколько приличных мальчиков и девочек, а

остальные — дети люмпенов, жулики... Тогда они казались мне прекрасными, и я смотрел на них вдохновенно, а в общем, если разобраться — печальная публика была. И я — в их числе...»

Ах, как не понравился одному редактору (кстати, ровеснику Булата Окуджавы) это определение — «дети люмпенов, жулики»! Он предпочел достаточно нейтральное слово «шпана». Быть может, в размышлениях Окуджавы ему почудилось личное оскорбление? Ведь у него тоже когда-то был свой двор, свои друзья... А может, он просто вспомнил про Ленку Коралеву, и обиделся за него, погибшего на фронте? Впрочем, не было на самом деле такого Ленки, а был собирательный образ, придуманный молодым поэтом, склонным к романтическим преувеличениям. Спустя тридцать лет после написания этой песни, Окуджаву в повести «Приключения секретного баллиста» создал совершенно иной портрет дворového заводилы. На сей раз его звали Витка Петров, а сам Окуджаву скрывался под именем Андрея Шамина:

«Витке... было уже почти шестнадцать, и он собирался бросить школу и идти на завод. «Мы рабочий класс», — говорил он и при этом страшно матерился. Каждому из своих подчиненных он дал кличку: Юрку Хромова, например, он назвал шпионской мордой, потому что отец Юрки был английским шпионом: еврея Моно — жидом; Андрея — трюкстом; Машу Томилу — пробылдушкой, потому что у ее матери часто сменялись кавалеры. Обижаются на кличку не полагалось, а кроме того, можно было от Витки заработать «по рыду»...

Игры были разные, но чаще всего играли в Чапаева. Конечно, Чапаевым всегда бывал Витка, а остальные — беляками. Они должны были набрасываться на него, а он кри-

чал: «Врешь, Чапаева не возьмешь!» И был ребром ладони по чему поало: «Бей трюкстов! Бей жидов!» Хрясь-хрясь... «И тебе, шпионская морда!.. И тебе... И тебе!» Хрясь-хрясь...

На Витку никто не обижался. Витка был свой. И когда однажды во двор пришли чужие ребята и стали приставать к Моно и даже ударили его, Витка накинулся на этих ребят, бил их и приговаривал: «Нашего жидов бить?! А вот вам, так вау!» В этот момент Андрей восхитился Виткой, потому что Витка заступился за слабого, а кроме того, проучил хулигана, оскорблявшего национальностей, как фашист.

Да вот такие нравы царили в московских дворах тех лет, и арбатский двор, увы, не был исключением. После этого грустной насмешкой звучат слова из песни про Ленку Коралеву:

Был король, как король, всемогущи. И если другу станет худо и вообще не поведет, он проплетет ему свою царственную руку, свою верную руку, — и спасет.

Окуджаву не отрицает своей причастности к тем далеким событиям: «Мы все были жертвами того воспитания, того строя, и сейчас это особенно хорошо видно». Именно сейчас, сегодня, когда за плечами целая жизнь со всеми ошибками и заблуждениями. В песенке, написанной в 1957 году, нет ни капли фальши: она принадлежит истории и свое дело сделала. Но фальшиво было бы петь ее в наши дни. Окуджаву понимает это. Поэтому и не поет.

Упрямо я твержу с давних пор: меня воспитывал арбатский двор, все в нем, от подлого до золотого.

А если иногда я кружева накручиваю на свои слова, так это от любви. Что в том дурного?

...Булат Окуджаву появился на свет 9 мая 1924 года в роддоме им. Гроумана. На Арбате, в доме 43 прошли его детские годы.

Отец Булата «вел суровую жизнь партийного аскета, лихорадочно переделывая Россию... когда приемник передавал речи Сталина... забывал все кругом, и на его лице выражалось столько счастья и влюбленности, что хватили бы на десятерых». Фанатично преданные революционным идеалам родители, разумеется, не крестили маленького сына, а «октябрили». Мать внесла его на руках в цех Трехгорки, где она работала, и под звуки оркестра, в присутствии рабочих и работниц состоялся этот торжественный обряд.

Учился Булат в 69-й школе, в Дурновском переулке. Школы той теперь не существует, и переулок уже не узнать. Мальчика очень обременяли дворовые заботы, поэтому он остался на второй год в пятом классе. Тогда с помощью дяди его устроили на работу в мастерскую по ремонту пишущих машинок.

«В чем заключались мои обязанности? — вспоминает Окуджаву. — В большом цеху стояли столы, на столах — испорченные пишущие машинки. Чинили их мастера, а я должен был протирать — то ли бензином, то ли еще каким-то раствором, не помню. Время от времени меня гоняли в магазин за водкой. Я получал маленькую зарплату и был очень горд».

Вскоре родителей Булата арестовали. Он жил с бабушкой и младшим братом. Было тяжело, к тому же Булат совершенно отбился от рук. И его тетя, которая жила в Тбилиси, решила взять мальчика к себе, чтобы он был под присмотром. И вот в 1940-м году Окуджаву расстался с Арбатом.

Ни почестей и ни богатства для дальних дорог не прощу, но маленького дворик арбатский с собой уношу, уношу.

В мешке везеком и запяточном лежит в узелке небольшой, не слышавший, как я, безупречным тот двор с человечьей душой.

А потом была война, на которую Булат Окуджаву ушел добровольцем, Северный Кавказ, ранение под Моздоком, госпитализация, а после излечения — тяжелая артиллерия резерва главного командования. И повсюду, куда бы ни забросила фронтальная судьба, вспоминался ему Арбат как символ утраченного.

ного уютно, как величина постоянная и неизменная.

Над нашими домами разносился набат и затемненные улицы одело. Ты научи любви, Арбат, а дальше — дальше наше дело.

Вступая в схватку с врагом, он просил о любви... Арбат был для него всем: признанием, религией, Отечеством. Все самые высокие, самые главные понятия воплотились для него в образе родной улицы.

После войны Окуджаву на Арбат не вернулось: сыну «врагов народа», пусть даже и фронтовику, жить в самом центре Москвы не полагалось. Тогда он поступил в Тбилисский университет, закончил его, потом некоторое время преподавал в сельской школе под Казулей. Но и там он не забывал об Арбате. Вот фрагмент из автобиографической повести «Нювский как с голонки», посвященной как раз этому периоду жизни Окуджавы:

«...Мы идем молча. Вдруг что-то похожее на резкий трамвайный звонок прокатывается над Васильевкой... Когда мне исполнилось пять лет, я сел в трамвай, проехал одну остановку по Арбату и очутился на Смоленской площади. Я вышел в незнакомом мире. Было страшно. Мой трамвай, грезя и позвонив, ушел куда-то в небытие. И уже другие вагоны снова вокруг так, что дух захватывало... Я ескарабасился в обратный эгон и вернулся к дому. И так я стал поступать ежедневно и знал уже все дома на Арбате между Смоленской площадью и Плотниковым переулком. И была весна, солнце, радость путешествия... А красный трамвай был моим личным экипажем, моим кораблем, моим танком, поездом дальнего следования. И я трясся в нем, прижатый пассажирами к дальней стене площадки, и пытаясь пошевелиться, но не мог, и не вышел на Смоленскую площадь, а трамвай ринулся дальше... Куда-то... Все кончилось. Я не плакал. Я сошел на следующей остановке. Вокруг простирался незнакомый мир. Он назывался Плотницкая. Куда я попал?.. И я заплакал. Ах как страшно было потеряться! Я не верил в спасение. Но оказалось, что даже отсюда трамвай возвращается обратно. И я втиснулся в вагон, и он понес со звоном, с грохом и молниями мимо домов и прохожих и высадил меня возле моего дома!.. Я стоял ошарашенный, а он умчался дальше — спасать кого-то другого. И другие красивые трамваи, добрые и надежные, бежали мимо меня. И я понял, что они не могут погубить, что они всегда вернут тебя к твоему дому...»

Арбат беру с собою — без него я ни на шаг, — Смоленскую на плечи я набрасываю, и Пресню беру — и не так, чтобы так, а Красную, Красную, Красную.

Да, это, наверное, могло покоробить привыкших к банальности людей: песня, в которой полностью отсутствовало привычное сюжетное развитие («как вспомню — сначала завязка, потом кульминация, потом развязка — сразу пропадает желание писать», — скажет позже Окуджаву), где нет никакой логики, а есть черда непонятных образов, вызывающих, по словам чиновного руководства тех лет, «неконтролируемые ассоциации»... Что это за выражение — «на плечи набрасываю»? Как понимать фразеологизм «не так, чтобы так»? Ускользающий, мерцающий смысл поэзии Окуджавы показывается опасным для приверженцев «социализма». Они почувствовали необходимость обороняться. И оборонились. И навешивали ярлыки. И клемили в газетных фельетонах необычного поэта с гитарой. А он продолжал петь — о себе, о друзьях, о Москве, об Арбате...

Минувшее тревожно забывая, на долготу втайне упокая, все медленнее живем, все тяжелей... Но песня трибунного первого трамвая с последней остановкой у Филей звучит в ушах, от нас неотставая.

Вернулся Окуджаву в Москву лишь в 1956 году уже совсем взрослым, семейным человеком. К тому времени освободился из лагеря его мама, ей разрешили съездить родственникам и переехать в столицу. Правда, не на Арбат, но все же... «Москва была для меня очень вожделенной, я все время мечтал о ней, страдал, и это событие стало для меня большим праздником», — вспоминает Булат Окуджаву.

В Казуле у Окуджавы вышла первая книжка стихов, подвигавшая сильной критике со стороны молодых юрковских поэтов. И в самом деле, стихи были довольно слабые. Со временем он стал писать иначе. Появилась потребность (может быть, из-за любви к фольклору) некоторые свои стихи декламировать, а еще бы дуче — исполнять под музыку. Тогда появилась гитара и три самых примитивных аккорда, показанных кем-то из знакомых. И однажды в кругу друзей Булат Окуджаву назвал свое старое шуточное стихотворение из случайную, только что придуманную мелодию. Другим понравилось. Тогда сочинили еще пять таких песен, потом шесть, но был конец 56-го — начало 57-го. Окуджаву тогда работал в «Литературной газете». И вот его стали приглашать выступать в разных квартирах. Собирались люди, ставили маг-

нитофон, песни записывались, известность росла... Правда, подавляющее большинство людей знало только фамилию и голос, да и то смутно. Поэтому Окуджаву приписывалось множество песен, к которым он не имел никакого отношения. А однажды его даже не пустили на собственное выступление в одной из московских библиотек...

Самые первые песни Булата Окуджавы были о Москве. «В то время гремели такие бодряческие мелодии и тексты, как «Дорогая моя столица, золотая моя Москва!» — продолжает свой рассказ Окуджаву. — Это была болезнь была. Лирический — талантливый человек, но он кружил в общем вихре... Так было принято, и избежать этого было трудно. Наверное, если бы я начал профессионально заниматься стихами перед войной, меня бы тоже не миновала общая участь. Но война многое во мне изменила. Кроме того, я умышленно ставил задачу — быть непохожим на эти песни. Есть такое понятие — «песни протеста». И те мои песенки в каком-то смысле именно «песнями протеста» и были. Потом, видите ли, какая штука: я писал песни для узкого круга своих друзей, мне нужно было выразить нашу общую судьбу. А Лирический и другие поэты писали для официального употребления. Так что, задачи были разные. На меня, между прочим, повлиял Ив Монтан, который пел о Париже, и песни были очень теплые, очень интимные. Мне хотелось и о Москве написать что-то похожее...»

Арбат беру с собою — без него я ни на шаг, — Смоленскую на плечи я набрасываю, и Пресню беру — и не так, чтобы так, а Красную, Красную, Красную.

Да, это, наверное, могло покоробить привыкших к банальности людей: песня, в которой полностью отсутствовало привычное сюжетное развитие («как вспомню — сначала завязка, потом кульминация, потом развязка — сразу пропадает желание писать», — скажет позже Окуджаву), где нет никакой логики, а есть черда непонятных образов, вызывающих, по словам чиновного руководства тех лет, «неконтролируемые ассоциации»... Что это за выражение — «на плечи набрасываю»? Как понимать фразеологизм «не так, чтобы так»? Ускользающий, мерцающий смысл поэзии Окуджавы показывается опасным для приверженцев «социализма». Они почувствовали необходимость обороняться. И оборонились. И навешивали ярлыки. И клемили в газетных фельетонах необычного поэта с гитарой. А он продолжал петь — о себе, о друзьях, о Москве, об Арбате...

На арбатском дворе — и веселье и смех. Вот уже мостовые становятся мокрыми. Плачьте, дети! Умирает мартовский снег. Мы устроим ему веселые похороны...

Но вот в шестидесятые годы затевается строительство грандиозного Калининского проспекта. Жертвой этого эпохального проекта пали Собачья площадка, Большая Молчановка, множество других уголков старой Москвы, знакомых и любимых с детства. По Арбату был нанесен сокрушительный удар. Как оказалось, не последний.

Что ж вы дремлете, ребята: ведь ослепки — от Арбата! А какая улица была! Разрушили гурьбою делят лаверь меж собою. Вот какие в городе дела. Ни золота и не хлеба ни у черта, ни у неба, но прощу я без обиняков: ты укрой меня, гитара, от смертельного удара, от московских наших дураков.

«Это страшная совершенно затея, — говорит Булат Окуджаву о Калининском проспекте. — Он разрушил главную часть Москвы, так ничего и не создав. Подумаешь, улица с одинаковыми полувосточными домами — такая претензия на заграницу... Это

«все по пословице: «Мы тозе англичане, только у нас наречия друя...»

Постепенно с Арбата стали выселяться его коренные жители, создавшие климат улицы и района. На их место въезжают люди, для которых Арбат — всего лишь название, красивое и непонятное. Именно тогда, а не в далеком предвоенное время, когда Окуджаву был лишен родного дома, он почувствовал себя «арбатским эмигрантом».

И все же Арбат еще существовал. Пусть в «Зоомагазине» ходили «оккупанты», пусть надменны были их уста и уверена походка, пусть... Зато все те же стояли дома, все та же шумели дворы, все та же мостовая лежала под ногами.

Окуджаву начал свою жизнь с Арбата. На Арбате он хотел ее и подытожить:

Не мучьтесь понапрасну: всему своя пора. Траву вырастает — к осени сомнется. Вы начали прогулку с арбатского двора, к нему-то все, как видно, и вернется.

Так писал он в семидесятые годы. А в самом начале восьмидесятых Арбат был весь перестроен и отгорожен от прохожих деревянными заборами. Что-то странное за ними происходило, что-то страшное. Неужто снова кто-то задумал погубить многострадальную улицу? И Окуджаву опять поспешил с итогами:

Когда кирка, бульдозер и топор сподобится к Арбату подобраться и правнуй забудут слово «двор» — соверш нас всех и собери, арбатство.

Ошибся Окуджаву. Ошиблись все, кто оплакивал Арбат: воспетый, прославленный, окруженный вниманием, он стал товаром, который можно продавать за валюту. Разрушить его стало невыгодно. Какой-то смелый проекторщик догадался, что, закрыв Арбат под старину, вымостив его плиткой и украсив фонарями, можно будет сорвать солидный куш. И он не замедлил воплотить свой замысел. Когда заборы рухнули, прежнего Арбата уже не было. Глазам изумленной публики предстал новый Арбат — пристанище спекулянтов, жуликов, матрешечников, оспитых музыкантов и нетрезвых художников. Инсценировки под старину не вышло. Как писал сам Окуджаву в романе «Свидание с Бонапартом»: «Москва казалась иностранной. Отечество не познано было винушью своим ароматам былую достоверность».

Однако, почему именно Арбату выпала столь грустная участь?

«Неудобно об этом говорить, — признается Булат Шалвович, — но мне кажется иногда, что какая-то доля и моей вины в этом есть: все время пел об Арбате, об Арбате, вот к нему и привязались. Конечно, это не буквально так, и все же...»

Мне как-то объяснили мои знакомые архитекторы, что это — мафиозные все дела. Просто был такой мафиози во главе московского горисполкома, у него были мафиозные друзья в архитектуре и строительстве, которым нужно было заработать... Вот и придумали такую вещь: «А что, если мы Арбат перестроим?» «Да, — сказал специалист по фонарям, — хорошо бы, я бы туда фонари сделал». А специалист по плиткам сказал: «А я бы плитками выстелил». Вот и все, и заработали... Я не вижу более серьезной, глубокой причины.

Сегодняшний Арбат это заурядная подражательная улица. Таких в Европе много. Наверное, получалась неплохая улица, ее очень любят приезжие. Но это — не Арбат, это совсем другое... Того Арбата больше нет, и я об этом очень сожалею.

«Вы начали прогулку с арбатского двора, к нему-то все, как видно, и вернется...» Некуда теперь возвращаться. Есть Арбат — и нет его. Жизнь не кончилась, и в то же время ее как будто и не было. Розы, что пыхтели «гордые собою», теперь «задедали и

облетели». Этот Арбат уже не вспомнить ничью молодость. У него как будто отшибло память...

Я унижен тобою, разлука, и в изгнанике сан возведен, и уже укоризны песни и слетаются с разных сторон, что лиловым пером заграничным, я тоскую, и плачу, и грежу по святым по арбатским местам.

Итак, Арбат — в прошлом. И ничего нельзя сделать. Или, может быть, все-таки можно попробовать вернуть ему прежний облик, если очень захотеть? Как Вы думаете, Булат Шалвович?

«Сначала общество должно отболеть и выздороветь. Тогда все само собой произойдет. Пока общество больно и безумно, оно ничего не может сделать... Когда-нибудь, когда мы выздоровеем и у нас будет очень много денег и много вдохновения, может быть, мы возьмем и разрушим эту туалетную плитку, снесем эти дурацкие фонари и создадим прежний Арбат — так, назло... Но, в общем-то, я не знаю, возможно ли вернуть прошлое».

Былое нельзя воротить — и печальнее не о чем: у каждой эпохи свои подрастают леса. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в «Яр» заскочить хоть на четверть часа.

А все-таки жаль... очень жаль. Но позволю себе напоследок порадоваться хотя бы тому, что не весь Арбат разрушен и развален. Есть еще это историческое пространство в самом сердце Москвы. Оно болит, страдает, но пока еще живет. А дальнейшая его судьба зависит от нас.

И если вам, читатель торопливый, он не знаком, тот гордый, сиротливый, извилистый, короткий коридор от ресторана «Прага» до Смолья и рай, замаскированный под двор, где все равны:

и дети и бродяги, спешите же... все остальное — вздор.

Михаил НОДЕЛЬ

